

Грешна, ей Богу, грешна! Каюсь: повязало меня по рукам—по ногам одно пристрастие. И чуется мне: вlipну я из-за него в какую-нибудь разисторию. Судя по недавним событиям, всё пряником к этому и идёт.

Дело в том, что нашукала я за свою жизнь по разным чердакам-чуланам немалую кучу всяческой древней всячины: утюги, прялки, скалки, самовары, кринки, поварёшки, ручники, лампады... Всего и не перечтёшь. Знаю, как любой заядлый собиратель, остановиться теперь уже вовек не остановлюсь. Прямо напасть какая-то на меня навалилась. Вот и этим летом подвернулся мне случай.

Почитай, годков эдак с пять, как опустела у нас на хуторе Настёнина хата. Помнится, преставилась баба в ночь под Ивана Купалу. Чин чином спровадили её соседи на погост, кто пожалковал, а кто и не очень. Помянули, конечно, расставив на её подворье столы, не без этого.

Может, потому, что наследство у Настёны невеликое – вросшая в земь хатёнка да саманный сарайчишко, ни родичей, ни мало-мальски близких у бабы не оказалось. Сыскали горбыль – до лесу-то шаг ступить, как не сыскать? – заколотили им крест-накрест двери-окна, и Настёны как вовсе не бывало.

И стала я примечать: засиротевшая хата с каждым годом всё лише приседает в лопушняк. Нынешним летом дошло уже до того, что пронырливый репей пролез сквозь проевшиеся крылечные половицы и пустился в цвет, а вдоль крыши, меж обвалившихся стропил, ему вдогонку выколосился дурнопьян.

Вот и надумалось мне как-то наведаться в эту дремь. Боязно, но будто бы кто подталкивает, так и нашёптывает, нашёптывает на ушко: «Чем чёрт не шутит? Вдруг същется в Настёнкиной хате то, чего вовек тебе нигде и никогда не раздобыть?» «Ну и ладно, – порешила, – так тому и быть, только на всякий пожарный надо бы хоть дочку с собой прихватить, всё не так боязно».

Уболтала её на часок отодвинуть холсты-краски: мол, века нашенские долы да угоры вокруг хутора недвижимо возлежали. Куда за это малое время сдвинутся? Хоть и не дюже резво, а всё-таки сманилась моя художница, ведь и сама до старины охоча.

Пришли, значит. Подворье от калитки до крыльца – в чертополохах выше головы. Идём гуськом, я – впереди, прокладываю палкой наотмашь стёжку, позади меня, вспинивая и шарахаясь от крапивы, – дочка Анюта.

С горем пополам отодрали горбыль. Изъеденные временем, густо устланые мхом, крылечные половицы чуть дышали. Распахнули мы сennые двери, кое-как, согнувшись в три погибели, пробрались в их пропахшую прогорклой сыростью сутемень. Свет из единственного окошка перекрывал куст задичалого тёрна. На корявых ветках его, пролезших сквозь расколотые шишки окна, от пронырливого сквозняка покачивались седые бороды пыльной паутины.

Пуки трав, берёзовые и дубовые веники, рядками развешенные вдоль проконопаченных паклей стен, изумрудились от плесени.

— Слава Богу! — возрадовались я, — прихватили отцовский фонарь. Без него в этой халупе и шагу не сделать.

— Давай-ка, пока не поздно, назад, — запротивилась, было, дочка. — Пусть в чулане у тётки Насти хоть кудеяровский клад запрятан, чует моё сердце: не к добру мы сюда завернули.

Как только луч света забрызгал по стенам низенькой горницы — оконца бровень с землёй, могила, да и только! — местная шустрая нечисть — армады мышей и разномастных козявок — ринулась в панике во все стороны, с истошным писком зашныряла под ногами, разбегаясь по щелям и норам. Ослепнув и потерявшись от резанувшего поверху света, отвратительно засвистела и, задевая нас крылами, в дальний угол, в самую глухую глушь, рванулась пара летучих мышей.

— Где там у нас лампа? — ободряюще чиркнула я спичками и, подхватив из дочериных рук керосинку, установила её на пыльной столешнице. Аня, с малых лет шарахавшаяся от любой повстречавшейся блошки, казалось, оцепенела, и мне, подбившей её на эту жуть, ничего не оставалось делать, как задорным голосом молоть всяческую отвлекающую дребедень.

Уж и не помню, какой я там её, бедняжку, чушью развлекала, только спустя некоторое время, когда потревоженная мелкота, наконец, притаилась и затихла, мы пообыклись и с немалым любопытством при тусклом свете лампы принялись осматриваться.

Нашим взорам предстало немудрёное Настёнино жилище: на полгорницы с чугунами-ухватами печка, напротив — Божья долонь — повидавший виды дубовый стол. Несколько покрытых густым слоем пыли табуреток, да под окнами — такие же чумазые, с порушенными мышами-молью домоткаными полавочниками, скамьи.

Выпалили поярче фитиль. В свете лампы на изъеденной «шашалом» полке проявилась куча мала всяческого посуда, незамысловатого, но без которого в хозяйстве ни за какие коврижки не обойтись. Раскружавленные паутиной, припудренные не одним слоем пыли, давным-давно впавшие в беспамятство, подрёмывали глянцкие кубаны и махотки, присоседившись к ним, дотягивали свой век бутыли и склянки какого-то удивительного — буро-карего стекла. За годы горького сиротства в них выстоялась такая гремучая смесь, что теперь уже опасно было приоткрывать с них крышки, вытыкать из их ядовитых горлышек пробки.

На довольно большом полотне — пять вершков в ширину, пять в высоту, — что примостилось меж лицевых окон на заплесневелой, с осыпавшейся штукатуркой стене, под расшифтым дробненьким крестиком полотенцем неожиданно совершенно явственно просматривалась моложавая женщина незаурядной красы.

Прозеленилось полотенце, изничтожилась рама, но лицо красавицы — а в ней без особого труда была узнаваема сама Настёна — не только не облиняло, не покоробилось временем, наоборот! — из-за её пронзительного взгляда казалось живым.

И неудивительно было бы, если бы отродясь задиристая и своенравная Настёна, тряхнув своими дивными, длинноющими до плеч, янтарными серёжками вдруг с укором вымолвила: «Ну? И чего припёрлись-то? Чего без спросу по чужим хатам шастаете?»

Её пронзительный взгляд манил и притягивал, правда, в то же время какой-то пронизывающее-холодный блеск его заставлял отступиться как можно дальше. И ещё! Что за чертовщина? Хозяйка избы безотрывно следила за нашими перемещениями вдоль избы. Куда бы ни отступились мы от портрета, Настёна впослед нам устремляла свои пылающие глаза, стараясь не упускать нас из виду ни на минуту. И правда, влипли!

А тут ещё половицы! Словно живые, они, шаг в сторону — зашевелятся, ещё шаг — и застонут, заголосят впрочёты. По стенам зашныряли какие-то лохматые, безобразные тени. В кишащих замогильным мраком углах снова кто-то зашуршал, зашушукался и заперепискивался, всё настырнее давая знать, что мы не одни, всё лише желая показать нам, пришлым, кто в Настёниной хате хозяин.



За окнами ещё полчаса назад ясное пролетье, не предвещавшее никаких напастей, отчего-то вдруг накукалось, и ни с того ни с сего, в мгновенье ока, захолустное подворье ухнуло в беспросветную, кромешную ночь.

То ли рыкнув от привкусения чего-то, ею давно поджидаемого, то ли злобно хохотнув, тяжело дыша, осклабилась, клацнула запором, словно зубами проголодавшаяся хищница, сырая щербатая дверь. Подтявкивая, поддакивая ей, заподпрыгивали, задребезжали на полках миски-плошки.

Жутью, кладбищенской погибелью, могильными пропастями в отсветах керосинки почудились бездонные оконные глазницы. За ними пластался ветер. Непогодь на всю ширь развернула свои воронёные крыла. Сквозь провалы в чердаке, навзрыд, словно по кому-то очень родному, надрываясь, голосил дождь.

Женского утерпежу больше не хватало, как говорится: пора делать ноги. Ой, как пора-а!

Но то ли любопытство взяло верх, то ли что-то не подвластное человеческой воле удерживало нас в этой «нечистой» хатёнке, не позволяло покинуть её до тех пор, покуда не поведает она, уставшая от своих тайн, столько лет в одиночку хранимые ею от всех на свете Настёны секреты.

Плеснув из керосинки на будто для нас сложенные в печи поленья, разожгли огонь.

Может, оттого, что мы, вопреки окружавшим нас страстям, не сбежали, стены хижины заиграли тёплыми отблесками, на подворье так же внезапно, как и началась круговорть, объявились затишье.

Покуда я хлопотала у печи, дочь, тоже потихоньку успокоившись, принялась обследовать Настёнико жильё. К сожалению, ничего примечательного, что могло бы пополнить нашу коллекцию старинных вещей, не обнаружилось.

И только под самый конец, обследовав сантиметр за сантиметром избёнку, когда переворошили содержимое огромного кованого сундука: не про будний день изукрашенные ришелье занавески и скатёрки, ненадёванные подшалки, штапельные да ситцевые отрезы, а когда добрались до самого донного донышка, всё-таки повезло! Да ещё как! В потаённом месте, под кучей всяческого скарба, Настёна, как мы и надеялись, зная «бабские похоронки», в крошечном «узелочке» сберегала самое дорогое её сердцу.

Души наши распирало от любопытства: что же может находиться в этом любовно расшитом диковинным орнаментом платочек?

Развязали и ахнули: «Да это те же самые «антарки», в которых Настёна красуется на портрете! Да-да! Вот на левой серёжке не достаёт на свисающем до плеч полукуружье камешка – самой малой капельки».

Женщины во все века остаются женщинами, а значит, модницами-нарядницами. Ну, какую не соблазнит примерить или хотя бы приложить к ушкам такое старинное диво? Поднесла их дочка к огню, как же загорелись в серёжках, излучая мягкий, ласковый свет, окатные янтари, какими переливались напитанные солнцем, дробные – с горошину – и крупные – с лещинку – камешки.

Обрадованная находкой, кинулась Аня к зеркалу. Только поднесла серёжку к уху, глядь, а из рас трескавшегося, раскружавленного паутиной зеркала смотрит на неё, усмехается Настёна. Не успела дочка ойкнуть, как та, чётко-чётко, будто и впрямь стояла напротив, вымолвила: «Не смей! Триста лет, как мои это антарки!» Аня с перепугу на том же месте и выронила серёжки из рук.

И тут же легчайшая тень метнулась к дверям, послышалось, как в сенях кто-то горько да жалобливо всхлипнул. И только всё стихло, как заходили вдруг ходуном, засотрясались стены хаты, западали порушенные потолочные балки. Изба Настёны по чьей-то неведомой воле принялась рушиться у нас на глазах.

Спохватившись, не до «антарок», мы – ноги в руки – и, не помня себя, вылетели за ворота Настёниного двора. Опрометью – домой, двери – на чепок. Нашарохала нас Настёна – трое суток слова вымолвить не могли.

Не скоро, правда, но когда страсти-мордасти от нашего гостеня в «нечистой» избе поулеглись, припомнилось как бы вдруг, что на Кривом урынке, на самом kraю деревни, докоратывает свои немалые годики тётка Луша. Настёна, вроде, будучи на этом свете, завсегда с ней роднилась. Правда,

тётка Лушка не очень-то к ней тянулась. Может, жаба душила рябую Лушку? Сродственница-то, на зависть всем, – сказочной красы, прям-таки Василиса Прекрасная.

И решили мы попроведать ту тётку Лушу. Вдруг что о «живом» Настёнкином портрете знает? Заодно, может, что и о её житье-бытье прояснится. А чтобы умаслить старушку, прикупили в сельпо для неё расцветающий подшалок. Хоть и одной ногой Луша рядышком с Настёной уже стоит, а при хорохориться всё ещё любит по-прежнему. Как сама про то говорит: «Бабское отродье! Куды ж от тряпишного соблазну деваться?»

Приняла, значит, наше подношение тётка Луша с превеликим удовольствием. Справилась, конечно, за какие- такие дела отговариваемся. А как признала, о чём любопытничаем, так язык её сам собой и развязался, удержу нет.

И поведала нам старушка без утайки, а может, по вине немалых своих годиков по большей части и приврала, всё, что могла, о своей «сроднице».

Вечера-то в Ранетовке под Петровки ласковые, а ночи тихие, задушевные. Присели на крылечные порожки и слушали тёткины рассказы до глубокой полуночи.

А начала она издалека, потому как Настёнина тайна пряталась в глубине веков: мол, сказывала Луша её бабка, что ещё при государыне Екатерине, годах эдак в шестидесятых, случился в Ранетовке, которую проиграл в карты помещик Кузяков старшему Шебаршину, случай, в котором не последнюю роль сыграла Лушкина прашурка, дворовая девка Настёна Ивашкина.

– Господь не поскупился, одарил ту самую Настёну со всей щедростью. Мало того, что в молодые лета слыла она на пять деревень в округе первой красавицей, так была ещё затейливой сказительницей. Уж у кого она это переняла, от кого этой дели навострилась: от матушки ли своей, от тётки ли какой, кто ж теперь про то ведает?

А только признал о крепостной своей девке Настёнке, о побасках её складных молодой барин Шебаршин. В ту пору был он в самом цвету. Проживал всё больше по чужедальним краям, по Хранциям-Ерманиям. А тут, на девичью беду, затоновал скиталец (а то, поди, не затоскуешь? – пять годочек в своей Ранетовке глаз не казал!) и прикатил к батюшке в усадьбу, на побывку, значит.

Ну, приехал и приехал. Где он и где дворня-то?.. Но только, поговаривали, была у молодого ранетовского барина заковыка – любил всяческую небывальщину слушать да записывать. Сколько под то бумаги извё-ёл! И из заграниции цельный сундук тех-то выдумок привёз. Вот батюшка-то его, старый барин, возьми да и похвастай: мол, да моя девка Настёнка за пояс заткнёт любого твово рассказчика.

Дальше больше... Дошёл их спор уж и до того, что коли признает молодой барин, послушав девицу, что она превзошла своими рассказами иноземцев, так побился он об заклад, из имения своего он больше ни ногой. Старому барину это ой как по нраву!

Тётка Луша сказывает, словно кружева плетёт, видать, вся в пррабаку удалась. А потому веришь ей на слово, хоть заведомо знаешь: по большей части из того, что накрутила она о своей далёкой прашурке, – сказки-выдумки, за-ради красного словца. Веришь, не веришь, и вдруг прикинешь: а что ж тут небывалое? Покопаться, так, поди, в каждом имении сыскалась бы не одна подобная девичья судьбинушка.

Ведёт Лукерья свой толк про старину стародавнюю, а сама, правда, не забывает посматривать, не чередит, не озорует ли в каком углу на подворье или в саду шкодная ребятня. Ни один Солнцекараул без того, наверно, ещё со времён её прашурки Настёны не обходился.

– Ну и вот... Кликнули, значит, Настёнку: поври-ка, мол, девица, всласть, – распаляет тётка интерес, – приоделась она, конечно, всё ж таки не у себя по двору, по господским залам ступать, и к урочному часу явилась, куды велено.

Уж какие-растакие небылицы неделю к ряду плела им девушка, только барин молодой о своих Хранциях и помнить позабыл. Прям-таки обалдел от Насти, от голоса её певучего, от стана перегибистого. Правда ли, нет ли, только сказывали: положил молодой Шебаршин на неё глаз, влип, значит, по самый хоботок. Души в ней не чаял. Даже потрет своей дворовой девки заезжему художнику заказал. И на День Ангела подарил. Ну, как вы наверняка его в засиротевшей хате видели. Пуще глазу берегли энтов потрет в Настёнкином семействе. Переходя от бабки к бабке, так и довисел он в простой деревенской избе и до наших дней.

Дак и продолжу, значит... Что разнесчастной делать, куды кидаться? Крепостная девка – не вольная птаха. А надобно сказать, стукнуло ей по тому времени семнадцать годочек. Самая невеста. И

женихов вокруг ей, что шмелей на июньских клеверах, – улыбнулась тётка Луша, – но сердечушко девичье – попробуй ему прикажи! – ёкало лишь при встрече с пастухом Прохором.

Время шло. Барин не отступался, а промеж Нasti да Прохора вызрела любовь нешутошная. Уж и деревня про то признала, рази ж от людских глаз скроешься? А как стало Настеньке вовсе невтерпёж от барских приставаний, скрепилась она духом да бухнулась в ноги молодой жене его: мол, так и так, смилийся, госпожа, не дозволь Кузьме Лексеичу, законному супружнику вашему, надругаться над девичьей невинностью.

Барыньке, – что ей до Настёны? – о себе впору печаловаться, – по всему видать, и впрямь заболел молодой муженёк её, променял свою барыньку благородную на простушку, девку подневольную. Вот и уговорила она свёкра свою, старого барина Лексея Никандрыча, выдать поскорей девицу замуж. За кого? Да хочь за вдового кузнеца Ерёмку. Благо, что бездетного.

С девкой порешили, а как быть с её любушкой Прошкой? А тут и говорить не об чем! И забрили Прохора во солдаты. Это нынче не успел парень за ружо подержаться – уж и в обратку сбираися. А раньше-то – шутка ли дело? – расставанье ажни на двадцать пять годочек! Попробуй дождись... Бабий век, знамо дело, – что маков цвет, и налюбиться не успеешь, глядь, уж осыпался. Да-а-а... А по ту пору, сказывали, забунтовал мужиков по Руси какой-то лихой казак Пугач. Вот и попал солдат Прошка под его сабельку остру.

Как уж там случилося, но долетела всё ж таки весточка об его гибели и до нашей Ранетовки. Жалковала по парню родня, а пуще всех убивалась разнесчастная Настёна. Видано ли, сколько бедствия разом навалилось на её головушку: и любушки вовек не воротить, и барин Лексей Никандрыч, чтобы потрафить невестушке, стоит на своём, упёрся: мол, на Покров венчаться Настёне с Ерёмою. Молодой-то барин, по правде сказать, чуть разуму с тоски не лишился. Имея к Настёне свой антрес, пробовал было за неё вступиться, да куды-ы там!

А горемышная девица, хоть и знала, что грех неотмолимый, а только невыносимо тощен стал ей белый свет, как она, горлинка, и в моток сигала, и всякими другими-разными приспособлениями пыталася лишить себя растреклятой своей жистюшки. Но, как говорится: кому утопиться, тот не повесится. Знать, была Настёнка у Господа за любовь свою неизбытвную на каком-то особливом счету, не дозволил он с девицей смертной смертушке приключиться.

Как не пытались мы выведать у Луши о дальнейшей судьбе её древней сродницы, так толком ничего и не разузнали.

Но в подтверждение тому, что всё тайное когда-то да становится явным, вот какой удивительный сон приснился мне в годовщину Настениной смерти под Ивана Купалу. Верить ли ему? Нет ли? Только сердцем чую: сама Настёна решилась, наконец, приоткрыть завесу над её удивительной судьбой, поведать, чем однажды в её распостылой жизни обернулась случайная встреча.

И видится мне: будто прохожу я летним вечером мимо Настениной хаты на ключ за водой. Смотрю: стоит, опершись на калитку молодая, в самом цвету, словно только что с портрета сошла, Настёна. Нарядная, подшалок цветастый по плечам раскинула, в ушках «антарки» поколыхиваются, в вечерней заре переблёскивают.

Окликнула меня Настёна, калитку распахнула, к себе манит.

– Заходи, суседушка, слышала: книжки писать навострилась. А хочешь, я тебе поисповедуюсь, судьбину свою, всю, как есть, как на духу раскрою.

Меня даже оторопь взяла: с чего бы Настёна так расщедрилась, тайну тайн свою вдруг за просто так выложила?

А Настёнка, будто мысли мои читает, ожгла меня своим пронзительным взглядом, улыбается, знает наверняка, что не смогу не согласиться.

– Только обещай, что пропишешь потом обо мне в какой-нибудь книжке. По рукам?

Как я могла отказаться? Коромысло и ведёрки – в подорожники, сама в слух обратилась.

Присели мы в саду под яблонькой, и повела соседка такой сказ.

– Знаю, знаю, кое-что обо мне успела разболтать тётка Луша. Только не всё ей мне ведомо. Ну, так вот, значит, уж и совсем, было, помрачилась я умом после Прошенькиной смерти, – повела своей откровение Настёна, – под Успенье, возвратясь от обедни – уж я толковала, толковала в церкви с Боженькой, уж просила-молила понять, простить меня грешницу, – не доходя до избы, повернула на омуток. Уж и камушек верёвочкой сермяжной обвязала, уж и на крут бережок взошла, один-

разъединый шажочек остался ступить, сигану, думаю, и – конец моим мучениям. Но тут, откуда ни возвращусь, раздвигаются кусты краснотала, и заступает мне тот крайний шажок старая старушонка. Пригляделась: что за диво? Вовек в нашей округе таковской не видывала. А она – хвать за камушек, да меня – в охапку.

– Это что ж ты, такая-разездакая, удумала? – бранится бабка, а сама – боком-боком оттирает меня подале от крутояра.

– Ох, и невмоготу мне, баушка, опостылел белый свет, пусти свершить, что узумала, – Христом Богом прошу я старуху, а сама рвусь-кидаюсь к обрыву.

Никак ей, маленькой-горбатенькой, не справиться со мной. Вынула она тогда из своих когда-то жуковых, а теперь уже осыпанных густым инеем волос частый терновый гребень и, не спросясь, воткнула его чуть повыше моего накосника.

Тут я, на удивление, вырываться-биться перестала, а как маленько поутихла, всю беду-горе спасительнице своей и выплакала: так, мол, и так, нет мне жисти, родная, теперя без Прошеньки, исчезалось сердечушко от одной мысли, что пойду под венец с разнелюбым.

– Рази ж это горе? – ухмыльнулась бабка, – не печалуйся, детонька, руками твою беду разведу, не успеешь и глазом моргнуть. Давай-ка присядем, покумекаем, глядишь, чего-нитого и распридумаем.

И снимает старая с плеча котомочку. Вытряхивает из неё всяко-разное бабское на подол, покопавшись, отыскивает крошечный вузлячик. Развязывает его и подаёт мне на ладони пару красивущих серёг. У меня ажни дух захватило! Вовек я таких не видывала. Были, конечно, у нашей ранетовской молодой барыньки и какие-никакие, а только таких дивных даже она не видывала!

– Баушка родненькая, – заотпихивалась было я, – мне ведь и отплатить тебе нечем.

– А ничего мне с тебя и не надобно, – шамкает старушонка, – рази что, будь ласкова, проводи меня до росстаней, поднеси мою котомочку.

Зашвырнула я свой горюч-камень в лозняки, серьги-«антарки» – в ушки, и потопали мы на парочку лужком да на горушку, с горушки опять лужком. Идём себе помаленечку, бабулька-то дряхленская, впору уж и с печи не слезать.

Покуда пожнями да покосами брели, всю жистюшку наперёд раскрыла она мне перед глазами, словно карты раскинула.

– Носи, милая, мой подарочек, ни днём, ни ночью не сымай. Пока «антарки» будут при тебе, будешь ты хозяйкой своей судьбы и никто и никогда не выдаст тебя за нелюбимого. Несчётные годы будут опадать, как листва по осени, а ты будешь всегда оставаться красивой и молодой. А жить ты на этом свете будешь до тех пор, покуда не сыщешь для себя человека по сердцу, пока не народишь от него деток, пока не вынянчишь от них внуков, – молвила бабушка на прощание. Обежала вокруг лесковочки, что у нас кой годочек кормит путников на росстанях, глядь, а уж и не старушка это во все – птичка-перепёлочка! Нырь во ржи – и была такова.

– Ух ты! Вот так история, – ахнула я, – а дальше, дальше-то что?

– А и ничего особенного, скажу я тебе, рассоседушка, не случилося. Века протекали чередой, красота же моя не вяла. И никому в деревне было невдомёк, сколько же мне, такой раскрасавице, на самом деле от роду. Помыкалась я, помыкалась на этом свете, всё пыталась сыскать своего суженого. Только, знать, один-разъединый разочек даётся человеку настоящая любовь. Остальное всё так, прилюбочки. Я-то ведь после Прошеньки и взглянуть на кого другого так и не взглянула… А как разуверилась в своих поисках окончательно, как поняла, что никогда уже не встретить мне свою распропашную любовь, устала я маяться без своей половиночки, вынула из ушей баушкины «антарки» да за ненадобностью и запрятала их на самое донце сундука.

– А ведь правду говоришь, Настёна! Собственными глазами видела я в твоей хате те волшебные серёжки! – не стерпела, вскричала я… тут и проснулась.

Но на этом Настёнина история не закончилась. На другой день прохожу опять по какому-то делу мимо порушенного Настёниного подворья. Вижу: кружит над ним сизая горлинка, заметила меня, и, словно нарочно, низёхонько так проплыла надо мной. Присмотрелась я: а в клюве-то у неё – Настёнины «антарки». Удостоверилась горлинка, что увидела я её находку, и – прямиком-прямиком в сторону села.

Где обронит она волшебные серёжки? Кто их сыщет? Кому ещё послуят они встретить нешуточную любовь?